

Госпожа Эрме. Ги де Мопассан

Сумасшедшие привлекают меня. Эти люди живут в таинственной стране причудливых сновидений, в непроницаемом мраке безумия, где все, что они видели на земле, все, что они любили и делали, возобновляется в их сознании и становится воображаемой жизнью, не подчиненной законам, которые управляют миром и мыслями людей.

Для них невозможное не существует, невероятное исчезает, фантастическое становится правдоподобным, а сверхъестественное — привычным. Старая преграда логики, глухая стена разума, здравый смысл, ограничивающий порывы нашей мысли, — все это рушится, падает, валится перед силой их воображения, которое вырвалось на волю, попало в необъятный мир фантазии и мчится гигантскими скачками, не зная удержу. Для них все возможно, все сбывается, им не надо прилагать никаких усилий, чтобы господствовать над событиями, подчинять себе обстоятельства, преодолевать препятствия. Достаточно каприза их воли, впавшей в самообман, чтобы они стали принцами, императорами или богами, обладателями всех сокровищ мира, всех его благ, чтобы они могли наслаждаться всеми радостями жизни, быть вечно юными, красивыми, любимыми, сильными! Только они одни могут быть счастливы на земле, ибо Реальность не существует для них. Я люблю заглядывать в их блуждающий ум, как заглядывают в бездну, где бурлит на самом дне неведомый поток, бегущий неизвестно откуда и неизвестно куда.

Однако не к чему заглядывать в эту пропасть, ибо никогда не узнаешь, где начинается этот поток и куда он убегает. В конце концов это только вода, подобная той, что течет по равнине, и мы не много узнаем, глядя на нее.

Не к чему также заглядывать и в души сумасшедших; ведь самые причудливые их мысли в конце концов знакомы нам и кажутся странными лишь потому, что не скованы цепями Разума. Капризное течение их мыслей поражает нас, ибо мы не видим, откуда оно берет начало. Довольно камешка, брошенного в него, чтобы вызвать водоворот. И все-таки сумасшедшие привлекают меня, и я постоянно возвращаюсь к ним: вечная тайна безумия притягивает меня помимо воли.

Однажды, во время посещения мною психиатрической больницы, сопровождавший меня врач сказал:

— Я покажу вам интересный случай.

И он велел отпереть комнату, где в большом кресле сидела женщина лет сорока, еще красивая, и пристально рассматривала свое лицо в маленьком ручном зеркальце.

Увидав нас, она вскочила, убежала в глубь комнаты, схватила валявшуюся на стуле вуаль и тщательно закутала лицо; затем вернулась и ответила кивком на наши поклоны.

— Ну, что, — спросил доктор, — как вы себя чувствуете сегодня?

Она глубоко вздохнула.

— Плохо, очень плохо, сударь. С каждым днем все больше и больше оспинок.

Он возразил убеждающим тоном:

— Да нет же, уверяю вас, вы ошибаетесь.

Она подошла ближе и шепнула:

— Нет, нет, я уверена в этом. Сегодня утром я насчитала еще десять оспинок: три на правой щеке, четыре — на левой и три — на лбу. Это ужасно, ужасно! Я больше никому не решусь показаться, даже сыну, даже ему! Я погибла, я навсегда обезображена!

Она упала в кресло и зарыдала.

Доктор взял стул, уселся против нее и мягко, успокаивающе сказал:

— Ну-ка, покажитесь! Уверяю вас, что это пустяки! Маленькое прижигание, и все исчезнет.

Она отрицательно покачала головой, не говоря ни слова. Он хотел было снять вуаль, но она так крепко вцепилась в нее обеими руками, что пальцы прорвали ткань.

Он стал уговаривать и успокаивать ее:

— Ведь вы хорошо знаете, что я всякий раз удаляю эти гадкие оспинки, что после моего лечения они совершенно незаметны. Если вы не покажете их мне, я не смогу вас вылечить.

Она прошептала:

— Вам бы я показала, но я не знаю господина, который сопровождает вас.

— Это тоже врач, и он вылечит вас еще лучше, чем я.

Тогда она решилась открыть лицо, но от страха, волнения и стыда так покраснела, что даже шея, видневшаяся в вырезе платья, стала багровой. Она опускала глаза, отворачивалась то вправо, то влево, чтобы избежать наших взглядов, и лепетала:

— Ах, я ужасно страдаю оттого, что вы видите меня такую! Это безобразно, не правда ли? Безобразно?

Я с изумлением смотрел на нее: на ее лице не было никаких следов оспы — ни рябинок, ни щрамов, ни рубцов.

Она обратилась ко мне, по-прежнему потупив взор:

— Этой ужасной болезнью, сударь, я заразилась, ухаживая за сыном. Мне удалось спасти его, но мое лицо стало уродливым. Я пожертвовала ради бедного ребенка своей красотой! Свой долг я исполнила, совесть моя спокойна. Но один лишь бог знает, как я страдаю!

Доктор вынул из кармана акварельную кисточку.

— Позвольте, — сказал он, — я их вам удалю.

Она подставила правую щеку, и он стал слегка дотрагиваться до нее кисточкой, как будто ставил краской точки. Затем он проделал то же самое с левой щекой, с подбородком, со лбом и наконец воскликнул:

— Взгляните-ка, больше нет ничего, решительно ничего!

Она взяла зеркальце и долго, с глубочайшим, пристальным вниманием рассматривала свое лицо, напрягая все силы, чтобы обнаружить что-нибудь, затем вздохнула:

— Да, теперь их больше не видно. Я бесконечно вам благодарна!

Доктор поднялся, поклонился ей и вышел вслед за мною. Когда дверь за нами закрылась, он начал:

— Вот ужасная история этой несчастной.

Ее зовут г-жой Эрме. Она была очень красива, кокетлива, любима и наслаждалась полным счастьем.

Это была одна из тех женщин, для которых красота и желание нравиться — единственное, что поддерживает их в жизни, утешает и управляет всеми их поступками. Забота о сохранении своей свежести, уход за лицом, руками, зубами, за всеми местами тела, которые можно выставлять напоказ, поглощали все ее время и внимание.

Она овдовела; у нее остался сын. Ребенка воспитали, как обычно воспитывают своих детей светские женщины, пользующиеся успехом. Все же мать его любила.

Сын рос, она старела. Замечала ли она приближение рокового кризиса? Не знаю. Разглядывала ли она каждое утро часами, как многие другие женщины, свою кожу, когда-то столь нежную, прозрачную и белую, на которой теперь мало-помалу появлялись складки и множество морщинок под глазами, еще неприметных, но с каждым днем, с каждым месяцем все более обозначившихся? Наблюдала ли она, как непрерывно, медленно, но неуклонно растут морщины на лбу — эти тонкие змейки, которых ничем не остановить? Познала ли она пытку, ужасную пытку зеркалом, маленьким зеркалом с серебряной ручкой? Ему не дают покоя, его с бешенством отбрасывают и снова сейчас же схватывают, чтобы посмотреть как можно ближе на ненавистную разрушительную работу приближающейся старости. Запиралась ли она по десять-двадцать раз в день в спальне, беспричинно покидая гостиную, где болтали ее подруги, и спеша под защитой замков и задвижек еще раз заглянуть на процесс разрушения своего зрелого, но уже начавшего увядать тела и с отчаянием убедиться, что этот процесс продвинулся еще чуточку дальше? Хотя никто этого еще не видит, но она-то хорошо знает, знает, откуда ждать самых жестоких ударов, самых ядовитых укусов времени. И зеркальце, маленькое круглое зеркало в чеканной серебряной оправе, рассказывает ей ужасные вещи; ведь оно умеет говорить, оно как будто смеется, издевается и предвещает все, что будет с нею, все грядущее убожество ее тела, все те чудовищные муки, какие ей суждено испытывать до самого дня смерти, дня освобождения...

Не рыдала ли она иступленно на коленях, прижавшись лбом к полу; не молилась ли тому, кто медленно убивает живые существа, кто дарит им молодость лишь затем, чтобы сделать еще безотрадней их старость, кто наделяет их красотой с целью снова ее отнять? Не просила ли, не умоляла ли она сделать для нее то, чего он ни для кого никогда не делал — оставить ей до конца жизни красоту, свежесть, привлекательность? И потом, поняв, что бесполезно умолять непреклонное Неизвестное, которое уносит годы один за другим, — не каталась ли она, ломая руки, по ковру, не билась ли головой о мебель, сдерживая в груди ужасный вопль отчаяния?

Без сомнения, она испытала все эти муки. Ибо вот что случилось.

Однажды — ей было тогда тридцать пять лет — заболел ее пятнадцатилетний сын.

Он слег еще до того, как выяснили, чем он болен и в чем причина болезни.

Аббат, его наставник, ухаживал за ним и не покидал его ни на минуту, а г-жа Эрме утром и вечером заходила узнать, как здоровье сына.

По утрам она появлялась в ночном пеньюаре, улыбающаяся, уже надушенная, и спрашивала, стоя в дверях:

— Ну, что, Жорж, не лучше тебе?

Подросток, красный от жара, с опухшим лицом, в лихорадке, отвечал:

— Да, мамочка, немного лучше.

Она оставалась в комнате еще несколько минут, с брезгливой гримаской разглядывая склянки с лекарствами, затем вскрикивала: «Ах, я

забыла об очень важном деле!» — и убежала, оставив тонкий аромат духов.

Вечером мать появлялась в декольтированном платье, торопясь еще больше, ибо вечно куда-то спешила; у нее едва хватало времени спросить:

— Ну, что говорит доктор?

Аббат отвечал:

— Он еще не сказал ничего определенного.

Но однажды вечером аббат сказал:

— Сударыня, у вашего сына оспа.

Она вскрикнула от испуга и убежала.

Горничная, войдя на другое утро в ее спальню, почувствовала сильный запах жженого сахара и увидела, что ее госпожа, бледная от бессонницы, с широко раскрытыми глазами, дрожит от страха, сидя на постели.

Лишь только отворили ставни, г-жа Эрме спросила:

— Как здоровье Жоржа?

— Сегодня совсем плохо, сударыня.

Она встала только в полдень, съела лишь пару яиц и выпила чашку чая, как будто сама была больна. Затем отправилась в аптеку, узнать, какие имеются средства от заражения оспой.

Она вернулась лишь к обеду, с массой всяких флаконов, и тотчас заперлась в спальне, чтобы обрызгать всю себя дезинфицирующими жидкостями.

В столовой ее ожидал аббат.

Увидев его, г-жа Эрме воскликнула прерывающимся от волнения голосом:

— Ну что?

— Ему не лучше. Доктор крайне встревожен.

Она заплакала и ничего не могла есть, до того была расстроена.

На другой день, едва рассвело, она послала узнать, что нового. Известия были неутешительны, и г-жа Эрме провела весь день у себя в спальне, где дымились маленькие жаровни, распространяя острый запах. Прислуга утверждала, что весь вечер слышала ее стоны.

Так она провела целую неделю, выходя лишь на час-другой после обеда подышать воздухом.

Она то и дело посылала спросить о здоровье сына и рыдала, узнавая, что ему все хуже и хуже.

На одиннадцатый день утром аббат попросил принять его. Бледный и серьезный, аббат вошел, отказался от предложенного ему стула и сказал:

— Сударыня, вашему сыну очень плохо, и он хочет вас видеть.

Она бросилась на колени, восклицая:

— О боже мой, боже мой! Я никогда не решусь! Господи, господи, спаси меня!

Священник продолжал:

— Доктор говорит, что надежды мало, сударыня, и Жорж вас ждет.

Затем он вышел.

Прошло два часа. Умиравший мальчик вновь выразил желание увидеть мать, и аббат снова пошел к ней; она все еще стояла на коленях, все еще плакала и повторяла:

— Не хочу, не хочу! Боюсь!.. Не хочу!

Он попытался уговорить ее, вдохнуть в нее смелость, наконец, повести насильно; но добился только того, что с ней сделался продолжительный нервный припадок, закончившийся истерическим плачем.

Вечером пришел врач; ему сообщили о страхе матери, и он объявил, что сам приведет ее, добровольно или силой. Но когда, истощив все доводы, он обхватил ее за талию, чтобы отнести к сыну, она уцепилась за дверь с такой силой, что невозможно было разжать ее руки.

Когда доктор отпустил г-жу Эрме, она упала на его ногам, умоляя простить ее, каясь в своем презренном малодушии. Она кричала:

— Нет, он не умрет! Прощу вас, скажите ему, что я его люблю, обожаю!

Мальчик был в агонии. Чувствуя близкий конец, он молил, чтобы уговорили мать прийти проститься с ним. С прозорливостью, иногда свойственной умирающим, он все понял, обо всем догадался и сказал:

— Если мама боится, попросите ее хотя бы только пройти по балкону до моего окна, чтобы я мог увидеть ее и проститься с нею хоть взглядом, раз уж нельзя ее поцеловать.

Врач и аббат снова отправились к матери.

— Вы ничем не рискуете, — уверяли они ее, — ведь между вами и им будет стекло!

Наконец она согласилась. Закутав голову, взяв флакончик с солями, сделала по балкону несколько шагов... Но внезапно, закрыв лицо руками, простонала:

— Нет, нет, я никогда не решусь его увидеть... Никогда... Мне стыдно... я боюсь... нет, не могу!

Ее хотели потащить насильно, но она уцепилась обеими руками за решетку и испускала такие жалобные вопли, что прохожие на улице поднимали головы.

А умирающий ждал, не отрывая глаз от окна, когда же перед ним предстанет любимое и нежное лицо, дорогое лицо матери; он ждал его в последний раз, чтобы умереть спокойно.

Он долго ждал, и, наконец, наступила ночь. Тогда он повернулся лицом к стене и больше не произнес ни слова.

На рассвете больной умер. На другой день г-жа Эрме сошла с ума.

Примечания

Напечатано в «Жиль Блас» 18 января 1887 года.